

Илья Лавров

16+



Черно-красная  
книга вокруг

## Annotation

Перед вами роман в романе или, если быть точнее, книга, в которой другая книга не хочет удовлетворяться жалкой ролью романа в романе. Из-за этого фантазия и реальность, соединившись, обещают вам захватывающее детективное повествование. Но, кроме того, как водится, речь пойдет о любви, о творчестве, о свободе личности, о мере этой свободы, то есть совести, и о многом другом. Здесь зло превращается в добро, добро – в раскаяние, вымысел – в реальность. 90-е годы. Успешный фоторепортер становится шантажистом, искореняющим пороки человеческие. Молодой писатель завершает роман, в котором загадочным образом описаны события, происходящие с фотографом. Роман был издан в 2006 году под названием "Мертвый фотограф".

---



Да будет проклята та ночь! Я должен был плохо кончить, ибо нарушил законы Твои, Господи. Я пошел на поводу у своего низменного желания, того желания, что всегда, в конце концов, подводит людей со времен Каина, желания, казалось бы, вполне естественного – жить чуточку лучше, чем другие. Вожделеть – значит не повиноваться ни Тебе, Господи – душе моей, ни себе – собственному рассудку. Повернись ко мне лицом, протяни мне свою божественную длань, выслушай, прими мою исповедь и подскажи мне путь к спасению.

А началось ведь с безобидной шутки. Это была всего лишь шутка, поверь мне! Пошутишь так один раз – понравится, пошутишь еще – затянет, и потеряешь все. Было у меня любимое дело – я фоторепортер – не стало дела, была у меня какая-никакая спокойная жизнь – не стало жизни, так, существование, мерзкое самому себе; была у меня любимая женщина, и ее, сам того не подозревая, я принес в жертву. Узнал я цену легких денег и дорого заплатил за это.

В ту апрельскую ночь меня мучила бессонница. Сам дьявол не давал мне уснуть. Ночь была душной, как в середине лета. Но сейчас, вспоминая, я думаю, что дело еще и в бесе. Близкое его присутствие, видимо, нагнетало горячую атмосферу вокруг – парник, будто я – дьявольский цветок – должен был распуститься в эту роковую ночь. Я ворочался с боку на бок, как мертвец в гробу, когда его вспоминают нехорошим словом; я собирал под собой простыню, отчего лежать было только еще неудобнее; я воевал с одеялом: под ним жарко, отбросишь – холодно.

Измучавшись, встал с постели, подошел к окну и, открыв форточку, взгляделся в темноту. Воздух разряженный, хмельной, как перед грозой, если она возможна в апреле. Тучи налепились глыбами, да так и застыли над городом. Я опустил взгляд и сразу увидел светящиеся окна в доме напротив. Там, видно, была вечеринка. Мужчины и женщины сидели за столом, ходили из комнаты в комнату, не выпуская бокалов из рук, несколько пар лениво танцевали. Весь остальной дом давно уже был погружен в сон, и только в этой квартире веселились, не потрудившись даже задернуть шторы. Я обернулся, чтобы посмотреть на часы – было уже за полночь. И – вот она дьявольская телепатия! – как будто уловив мою мысль, гости вдруг стали собираться домой. Почему же я не отошел от окна? Сделай я это, и жил бы как прежде.

Я смотрел, как гости вышли на улицу, но перед тем, как пойти веселой толпой, дружно остановились и стали смотреть на светящиеся окна. Там на кухне хозяйка высунулась наружу, легла на подоконник, махала гостям рукой, кричала что-то. Сзади к ней подошел мужчина и обнял за талию. Легко было предположить, что это ее муж. Контуры их слились на фоне света. Оба махали руками, пока не скрылся за углом последний гость. И тут вдруг мужчина, не дав женщине подняться с подоконника – да она и не больно-то сопротивлялась, цинично задрал ей платье и красноречиво пристроился сзади.

Я не половой извращенец, не маньяк, но и не деревянный истукан; с женщинами у меня тоже все в порядке, и воспитан я был когда-то давно вовсе не по-пуритански, чтобы вот так просто, застеснявшись, отойти от окна и пропустить такую сцену. И дьявол, дьявол был тут рядом!

Меж тем в глубине кухни вдруг появился второй мужчина и, выжидая, облокотился на холодильник. Третьего я увидел в соседнем окне, в комнате – он развалился на диване,

положив ногу на ногу, и нервно похлопывал себя по ляжке. Представление обещало быть интересным, мешало только большое расстояние. Разве можно разглядеть все подробности из своего окна. И тут меня осенило.

Я подбежал к письменному столу, дрожащими руками вытащил из футляра «Зенит» – свой верный фотоаппарат, и, не сразу попав резьбой в резьбу, вкрутил в него длиннофокусный объектив, предназначенный для съемок удаленных предметов. Получилась прекрасная подзорная труба.

Найдя через объектив ту самую кухню, я никого уже там не обнаружил. И как сейчас помню: досада, непонятная звериная досада заскреблась во мне. Но вся веселая компания оказалась в другом окне, в соседней комнате. Они играли в свои взрослые игры, расположившись на ковре. Моя квартира была на седьмом этаже, эта, веселая – на четвертом, так что ковер мне сверху был открыт полностью. Я навел резкость и автоматически, с профессиональной точностью поставил выдержку и диафрагму. Теперь, вооружившись сильной оптикой, я мог рассмотреть детали вплоть до огоньков похоти в их глазах.

Женщине было около сорока, но выглядела она неплохо: плоский живот, шарообразность груди, колыхающихся при каждом движении хорошим наваристым студнем, ни капли лишнего в бедрах – сразу видно, что она не рожала. Загорелая кожа – это в апреле-то! – контрастно оттенялась по сравнению с белизной ее зада и, особенно – на фоне бледной кожи мужчин. Все трое, кстати, были младше ее, и все, как на подбор: микеланжеловские линии играющих мышц, волосы на груди, бритые затылки.

Время не могло их унять. Я заворожено смотрел в видоискатель фотоаппарата за их перемещениями. Действие это выглядело, как добротная порнография, и если бы я точно не знал, что вижу все своими собственными глазами, могло бы показаться, что я смотрю фильм. Тем более картинка разворачивалась передо мною через формат камеры. Я искренне восхищался их изобретательности. Это была мерзкая, животная, но потому и влекущая вакханалия. В следующий момент все случилось мгновенно. «Вот хороший ракурс», – подумал я и нажал на спуск. Камера щелкнула, на доли секунды закрылось от меня действие, на веки вечные запечатлелось оно на пленке.

Уверяю Тебя, Господи, первый раз я сделал это интуитивно, из профессионального интереса, не преследуя никаких целей. Цель появилась потом. Может быть, когда я сделал второй снимок. Но и тогда это было не больше, чем шутка.

Я отснял всю пленку.

Я с такими подробностями рассказываю об этом, Господи, чтобы Ты увидел, как велико было искушение для меня. Я – обычный смертный, жизнь которого, Ты сам знаешь, коротка и уныла. Стремление к жизни другой – это ведь так, казалось бы, естественно. Может хоть эта мысль послужит мне каким-нибудь жалким оправданием. Грех мой еще даже не зародился тогда в голове – большой и неискупимый грех по сравнению с невинным созерцанием шабаша этой ведьмы и ее подручных. Но сознаюсь – не ускользнуло от меня, что квартира, где происходила эта вакханалия не из бедных: дорогая мебель, богатая отделка, картины на той стене, что была мне видна – эти, казалось бы, мелочи и внушили мне чудовищную идею.

Я тут же достал отснятую пленку, проявил ее и стал печатать фотографии. Крупный план, четко различимые лица, откровенные подробности – снимки получились великолепные. Закончив, я, наконец, почувствовал усталость и хотел было уже лечь спать, но

тут прогремел гром. В какой-то момент я удивился, а потом подумал, что ничего странного в этом нет: обычный грозовой разряд, первая весенняя гроза, только очень ранняя, апрельская. Я снова подошел к окну. Взгляд мельком скользнул по тем светящимся окнам – там еще что-то возилось, – но было не до того. Вид грозного неба приковал взор. Тучи надвигались прямо на меня, ветер свистел, тополя внизу раскачивались и скрипели. И вдруг расколосось небо, вспыхнуло, будто хотело засветить мою пленку и в ту же секунду загрохотало. Все вздрогнуло от неожиданности: и деревья, и здания, и сама земля, и тревожная птица, перелетавшая от дома к дому. Вздрогнул и я. Гроза была надо мной...

Кто сказал, что после крика петухов сатана не властвует над нами, утром он разбудил меня, требуя закончить начатое дело. Спешно позавтракав, я взял фотографии, напечатанные ночью, и вышел из дома. Я без труда вычислил квартиру этой ведьмы. Почему-то я не побоялся быть узнанным – живем-то ведь рядом – только и сделал, что нацепил на нос солнцезащитные очки. «Слишком мала вероятность встречи в новом многонаселенном районе, – думал я с наивностью младенца, – я-то не видел раньше этой женщины, значит, и она не знает меня». В своей эйфории я даже не подумал о том, что могут сделать со мной те трое ее мужчин, – я ведь не видел, ушли они или нет.

Дверь открыла сама ведьма. Утром, в непосредственной близости она не выглядела привлекательной: заплывшие после бессонной ночи глаза, дряблые губы, спутанные обилием лака волосы, бесформенная масса груди под халатом. Трудно было поверить, что эта женщина не давала покоя трем молодым мужчинам. Но факты – упрямая вещь, факты все еще сжимала моя рука.

Я сразу же, без лишних слов, показал ей один снимок, самый впечатляющий и мерзопакостный. Наверное, она вначале приняла меня за почтальона или разносчика телеграмм, потому что, увидев фотографию, охнула от неожиданности. И тут же из квартиры раздалось:

— Кто там, Ирина?

Сердце сжалось. Только в этот миг я понял всю глупость, затмившую мой рассудок. Я уже был готов сорваться вниз по лестнице, но, посмотрев на женщину, увидел в ее глазах еще больше страха.

— Нет, нет, лежи, милый. Ты устал с дороги. Это Ангелина Павловна пришла насчет вязания, – торопливо крикнула она, не спуская с меня умоляющего взгляда, и, выскользнув на лестничную площадку, плотно прикрыла за собой дверь.

От сердца отлегло. Наверно, домой вернулся муж, иначе как еще объяснить ее страхи? И, правда: мужской голос был с характерным старческим скрипом и принадлежал явно не тем молодым людям. Но хороша: ночью – вакханка, днем – добропорядочная домохозяйка, объясняющая соседкам, как правильно закончить вязальный орнамент.

— Что вы хотите? – спросила она шепотом.

Я пожал плечами, мол, что я могу еще хотеть, и ответил тоже шепотом:

— Деньги.

— Сколько? – спросила она быстро, по-деловому.

— Три тысячи долларов.

— Хорошо, – сказала она, а я пожалел, что попросил не пять.

— Значит так, – быстро заговорил я, пока она не опомнилась. – Даю вам сутки с небольшим. Завтра в семнадцать часов встаньте на углу Ленинского и Московского проспектов напротив памятника Ленину возле проезжей части. Будьте одна. Деньги держите

наготове. Тогда и купите у меня пленку. Но предупреждаю: без шуток. На всякий случай мы оставим себе фотографии, и если со мной что-нибудь случится, мой напарник найдет способ, где их пристроить.

Я очень опасно блефовал. Никакого напарника у меня не было. Но попал в точку. Мне вообще сильно повезло в тот первый раз. На следующий день в семнадцать десять я уже ехал на такси по Ленинскому проспекту подальше от того злополучного места. Помню, как оглянулся и увидел – Ленин протягивает в мою сторону руку, мол, отдай. Но погони не было. В кармане у меня лежала пачка «зеленых», сердце билось где-то в пятках, а в голове вертелось: «И никакая она не ведьма. Обычная самка, наложившая от страха в штаны».

Впрочем, и мои штаны только чудом остались сухи.

Есть писатели признанные, читаемые, любимые; есть писатели признанные, читаемые, но не любимые; есть писатели признанные, но не читаемые; есть просто непризнанные писатели. И последних легион...

Павел Заманихин принадлежал как раз к ним, истребляющим бумагу, считай – деревья, как жуки-короеды. Сколько ими, короедами, испорчено бумаги, чернил, карандашей, сколько потрачено на них времени серьезных занятых людей: редакторов, издателей, литконсультантов, которым хочешь, не хочешь приходится читать бесконечные опусы этого легиона. Но грозил Заманихин! Грозил оторваться от себе подобных и потеснить настоящих писателей, как бы те того не хотели, – если не в первой группе, то во второй или хотя бы в третьей.

1 июня 199... года, в воскресенье, он проснулся с мыслью, что теперь-то он будет известен. Бывает же такое со смертными! Только вчера он, оператор котельной, крутил задвижки, регулировал давление пара на деаэраторе, включал и выключал бойлер, никому не известный, непризнанный, а сегодня о нем уже будет знать весь мир. Конечно, гипербола здесь раздулась, как только может она раздуться в голове человека с нездоровым воображением – в голове писателя, но повод для гордости у Заманихина действительно был. Вчера поступила в продажу его первая книга под названием «Мертвый фотограф». И пусть ему послезавтра снова идти на смену, пусть книга была задержана с выходом на два месяца из-за прекращения финансирования, пусть это всего сто девяносто две странички в мягкой обложке, пусть тираж лишь тысяча экземпляров – Заманихину этого было достаточно для удовлетворения авторского тщеславия.

Тщеславие, оно ведь такое разное. Одному хватит и случайной фотографии в районной газетенке, где угадывается лицо или вытянутая рука на дальнем плане; другому и целого мира мало.

Гонорар задерживали. Но пока Заманихина это не волновало. Что там деньги по сравнению с радостью славы! Главное – пробился. Казалось, предложи ему в издательстве за роман и несколько рассказов, что уместились в книжке, десятидолларовую бумажку, он и на это согласится. Раньше-то было одно разочарование да саркастическая ухмылка жены, стоило ему вместо гонорара получить по несколько экземпляров журналов с опубликованными в них своими рассказами. Три раза так и было. Три раза его рассказы брали литературные журналы – интересная, если задуматься, омоформа: Заманихин думал, что это его произведения брали приступом журналы, как какую-то недосыгаемую литературную высоту, а в журналах, наверно, думали наоборот: «Возьмем рассказик, так и быть». Прямо как хрестоматийное «мать любит дочь», где непонятно, кто кого любит, или парадоксальное «бытие определяет сознание», где непонятно, что чего определяет. Что здесь было раньше: курица или яйцо?

С первым июня Заманихин связывал большие надежды. И речь здесь не о тщеславии. Уже год прошел, как Павел поставил в своем романе окончательную жирную точку. После этого он не смог написать ни одной достойной строчки. «Исписался!» – все чаще и чаще думал Заманихин с тревогой, грустнел, хмурился, перечитывал с отвращением только что сочиненное и рвал, рвал бумагу. Возникло еще предположение, что это просто лень, обычная мирская лень. И тогда Заманихин заставлял себя работать, корпел над листом, писал



другой, но чувство отвращения не проходило. Не то, не то, – кричали мысли, лист мялся, разлетался на клочки, в упрямом усердии брался новый, и повторялось то же самое только с еще большим остервенением. Заманихин пытался настроиться, перед тем как сесть за стол, читал своих любимых писателей, но те только доказывали ему, кто здесь бездарность. В отчаянии он пробовал писать и по ночам, подражая кумирам, тоже сочинявшим по ночам, но получалось сотворить только рекордно продолжительную зевоту.

Заманихин хватался за одну спасительную мысль, на протяжении целого года всячески им лелеемую, уже давно всю обсосанную и облизанную: все дело в романе, – думал он, – пока роман не опубликуют, пока роман не увидит своего читателя, не сможет он, Заманихин взяться за что-то другое. Приятное оправдание. Со злостью Павел вспоминал, как легко сочинялся «Мертвый фотограф». Что называется «на одном дыхании», если бы не затянулась эта счастливейшая пора на полгода. Было такое чувство, будто кто-то диктовал ему абзац за абзацем, а Заманихин только и успевал записывать. Замыслы в его голове возникали один за другим, он ставил рекорд за рекордом, просиживая за письменным столом то шесть, то семь, то даже восемь часов в день. Немела рука, отваливалась, устав держать авторучку, а Заманихин никак не мог закончить писать, потому что идеи поступали к нему откуда-то, как на хорошем конвейере. И сколько их пропало, когда этот работяга от литературы, думая, что никогда уж теперь не забудет какую-нибудь мысль, конечно, важную, но в то же время и шальную, потому что пришла она к нему в туалете, начисто забывая-таки ее. Поэтому и на работе, и в метро, и дома, и даже в постели он то и дело хватал карандаш, записывая новую идею. А утром она удивительнейшим образом четко вписывалась в повествование – не прибавишь, не выкинешь.

Да, это было вдохновение! Как еще объяснить такую плодовитость? И вот после последней жирной точки, все кончилось, как отрезало. Если бы Заманихин мог проанализировать свои действия, глядишь, и понял бы причины. Тогда, окончив роман, он взял продолжительный писательский отпуск: сначала просто отдых, затем ремонт квартиры, потом поездка в Воронеж к теще на блины. И в результате за те четыре месяца, в которые Заманихин и ручку-то брал всего несколько раз, огонь сочинительства, так сильно раздутый и надежно подпитанный топливом во время создания романа, благополучно потух. Не осталось ни одного хоть слабо тлеющего уголька.

Но тогда казалось, что отдых ему был нужен. После романа он был измучен и выжат до последней капельки-слова. Он устал так, что не мог смотреть на свою книгу, пока еще в рукописном варианте. Но усталость эта была такой приятной, удовлетворяющей, как после секса. И никакого повода к беспокойству не было. Зато потом Заманихин почувствовал себя импотентом. Не тянуло его даже садиться за стол и брать ручку, как некоторых несчастных счастливцев не тянет к женщине. Вот тогда-то в его голове и укоренилась мысль, что все это из-за его детища, из-за романа, рожденного, но не пристроенного. Павел перестал писать, чтобы не мучить себя теми страничными выкидышами, которые неизменно оказывались на полу измятыми или изорванными.

Роман требовал, чтобы его напечатали, роман хотел превратиться в книгу. Заманихину пришлось расшибиться в лепешку, но сделать это. Как ему удалось напечататься – другая история. Мне сейчас не до этого. Мне рассказать бы, какие ужасы ждут его впереди.

И вот теперь, когда роман напечатан, никаких послаблений быть не должно. Теперь надо садиться за стол и работать. Заманихин тихонько выскользнул из-под одеяла, чтобы не разбудить жену.

— Куда ты? – спросонья взглянула она на часы. – Еще рано...

— Ты спи, Надюша, спи...

Ее не надо было уговаривать. Она тут же раскинулась на всей кровати.

Заманихин умылся, торопливо позавтракал и сел тут же, на кухне за стол, положив перед собой чистый лист бумаги. Бумага и ручка были приготовлены еще с вечера. Закурил, задумался.

Стоит ли портить этот лист, который в ожидании разлежится перед ним. Заманихин думал, что сейчас слова польются легко и просто, как раньше, будто и не было этого бесплодного года. Но белый лист кричаще сверкал, не давая сосредоточиться.

Еще с вечера он решил, что начнет этот прорыв с небольшого рассказика о том, как один человек, отказавшись пойти на антиядерную демонстрацию, смотрел футбол по телевизору. Трансляцию матча вдруг прервали экстренным сообщением о ядерном взрыве. Человек этот недоуменно смотрел по телевизору, как приближается взрывная волна, а потом воскликнув: «А как же футбол?!» – подошел к окну и в последние секунды жизни увидел взрыв воочию. Но теперь Заманихин испугался: он знал, о чем писать, но не знал как. Вдруг слова, косясь брыкаясь, сложатся не так, как нужно, лягут не в те сочетания и тогда... Страшно подумать! Лист будет скомкан.

Заманихину было жалко замысла.

Надо расписаться. Надо попробовать записать свои мысли, чтобы снова почувствовать вкус вдохновения, а потом пойдет, само пойдет, он знал это по «Мертвому фотографу». Но о чем тогда писать? О себе? Что можно написать о себе, когда жизнь скучна и размерена до отвращения. С детства Заманихина мучила жажда приключений, да так и осталась неутоленной. Потому и стал он писателем: воображение увлекало его куда как дальше, чем был он сам.

Он посмотрел в окно, в ту даль, которая его всегда манила. Там, за высотными домами белели остатки вчерашних облаков. Выше было чистое небо. Насколько оно высоко? Попробуй-ка описать его высоту всего несколькими мазками, как это сделал Толстой. Заманихину захотелось прочитать это место, но «Война и мир» стояла на полке в той комнате, где спала Надя. Пришлось отложить. Заманихин прислушался. Через открытую форточку доносилась с улицы воробьиная возня, да однообразно вжикала по асфальту дворницкая метла. Вот она – жизнь: размеренные взмахи метлы. А если захочешь действия, движения вперед, то эти взмахи только лишь участвуют. И щебет воробьев – тот же наш бессмысленный лепет, иногда тише, иногда крикливее...

Вдруг у Заманихина наконец-то возникла первая путевая мысль. Он попытался ее развить, бросил в пепельницу очередную сигарету и застрочил: «Есть писатели признанные, читаемые, любимые...»

Он писал о себе и не утешал себя мыслью, что пишет только для себя. Утверждающий это – лжец. Если только писатель не кокетничает, если не обманывает самого себя, то никогда он не скажет, что творит из-за зуда в пальцах. Любой писатель пишет только для того, чтобы его читали, как композитор сочиняет музыку для того, чтобы ее слушали, а художник пишет картины, чтобы на них смотрели.

Заманихин расписался, и какое-то время его мысль было не остановить. Так он незаметно проскочил страничный рубеж и погнал мысль дальше. Но вдруг опять, как отрезало... Вроде бы закончил абзац, и тут пришли воспоминания – паразиты, как и мечты, отвлекающие от творчества. Стоит что-то вспомнить или празднично замечтаться, и тут же

разрушается стройный процесс созидания. Сейчас Заманихин вспомнил, как вчера поссорился с женой. Вернулся со смены, а дома никого, ужин не приготовлен. И тут она вваливается, довольная, счастливая. Где была – молчит, улыбается, придумывает на ходу и придумывает неудачно: «Гуляла». Потом бессонная ночь, ревность – какое тут может быть творчество!

Вся их беда в том, что у них нет детей. Ходили вместе на обследование, выяснили, что все дело в нем, в Заманихине, и в его наследственности. Что-то там у него еще не созрело. Вот и сам он был у родителей единственный поздний ребенок. Но они-то ждали, надеялись... А Надя...

И тогда воспоминания уступили место мечтам. О новом белом листе Заманихин забыл. Решено (и все обдуманно было давно): бросить в рюкзак самое необходимое, взвалить его на плечи, сесть в первую попавшуюся электричку и путешествовать. Сейчас начинается лето – будет тепло, с работой договориться легко – летом в его котельной можно взять отпуск за свой счет. Дождаться только гонорара за книгу – дадут его на днях – и в путь! Ничего не держит, все сошлось: лето, нелады с женой, творческие мучения и даже лишние деньги. Все, все, решено! Вперед за приключениями!

Заманихин совершенно новыми глазами посмотрел на то, что успел написать за это утро и начал рвать листы со словами:

— Не то! Не то! Все не то!

Но рвал он на этот раз без привычного остервенения, рвал он с уверенностью человека, знающего, что ему делать дальше.

Символично, что первой моей жертвой стала женщина – далекая праправнучка той, что невинно сорвала яблоко. Не так ли, Господи, и Ева, совершив грех, потащила за собой Адама. И если дьявол по отношению к ней – искуситель, то она – искусительница по отношению к мужчине. Что ей, этой Ирине, стоило подойти к окну и задернуть шторы. Да, она не догадывалась обо мне, не предвидела возможные последствия, но и Ева думала ли, что ее ждет.

Я целиком ушел в захватившие меня планы. Так игрок, нашедший бумажник, с горящими глазами спешит в казино, чтобы умножить свое случайное состояние, пока снова не останется ни с чем. У меня теперь тоже горели глаза, но рассудок был дьявольски холоден. Когда совершаешь первый дурной поступок, сразу же отодвигаешь в сторону и мораль, и совесть, а вместе с ними вдруг сама собой исчезает та благородная горячка, которая так мешает деятельности ума.

Первым делом я выработал правила, которые должны были уберечь меня от случайных губительных неудач. Во-первых, ни в коем случае не снимать на фотоаппарат возле своего жилья: лучше сиди дома, смотри телевизор, если лень смотреть на другой конец города. Во-вторых, никогда больше не встречаться со своими клиентами лично: есть ведь почтовый ящик для фотографий, уличный таксофон для переговоров, автоматические камеры хранения на различных вокзалах для получения денег. В-третьих, никогда не возвращаться на место удачной съемки: зачем зря рисковать, когда город так велик. Я приобрел уголовный кодекс и увлекся чтением криминальной хроники в газетах. Все это могло пригодиться для поиска клиентов. Раньше меня это мало интересовало – сам ведь газетчик, такого насмотришься через объектив камеры, что на чтение не остается ни капли желания. Но я и не представлял, что у нас в стране, да и не только у нас все до такой степени запущено. Мир катится в пропасть. «Есть ли хоть один честный человек на этом свете?» – спрашивал я себя. И тогда же в голове у меня зародились странные на первый взгляд мысли – зачатки стройной, объясняющей все теории.

Теперь каждый вечер, свободный от основной работы, и добрую часть ночи я проводил на крышах или на верхних этажах лестниц у окна. Недоразумений с особо бдительными жильцами или с милицией я не боялся – в кармане у меня лежало мое подлинное удостоверение фотожурналиста известной газеты. Вокруг меня орали коты, возбужденные весенним распутством; звезды равнодушными аргусовыми глазами сторожили землю; мир был погружен во тьму, но не спал. Люди включали свет в своих жилищах, забывали закрыть при этом шторы, ссорились, любили друг друга, нарушали закон у меня на глазах, даже не подозревая о моем существовании.

Первые несколько вечеров не принесли мне никаких результатов, но я не отчаивался, понял – ремесло, выбранное мною не из легких, и просто так никто не будет отдавать мне свои деньги. Но вот, наконец, рыбка клюнула. Она была маленькая и сорвалась в итоге, но все-таки, проводя аналогию между собой и рыбаками, я был рад: значит, клюет!

Как-то я наблюдал за большим кооперативным домом с крыши соседней «хрущевки». Потихоньку у меня вырабатывались навыки во многом нового для меня ремесла, и я отмечал про себя мельчайшие изменения за окнами, которые вскоре могли мне пригодиться. Вот в одной квартире ссора с битьем посуды, вот в другой – женщина оголила перед зеркалом свою

неплохую, в общем-то, задницу, вот мужчина с цветами оказался на позднем вовсе не деловом ужине, вот родители на ночь глядя собираются куда-то уходить, оставляя дома одну дочку лет так семнадцати, вот они ушли...

Я задержал внимание на этой последней квартире, потому что тут же, после ухода родителей, девушка бросилась к телефону. Любая деталь была мне важна... Но нет, прокол. Девушка, быстро наговорившись, выключила свет. Побежала, наверное, к своему милому, пока родителей дома нет.

Я продолжал наблюдение. Сколько я насмотрелся тогда человеческих непотребств, прежде чем нажать на спуск своей камеры. И не всегда ведь снимал. Юноша, сидящий перед телевизором – голубые блики так и прыгают по возбужденному лицу – играет сам с собой в игру, испортившую доброе имя мифическому Онану. Некое подобие любовного треугольника: молодая женщина обнимает пожилого мужчину и за его спиной делает рукой успокаивающий жест молодому человеку, который сидит на диване, мол, не ревнуй, подожди. Вечеринка в заключительной стадии: выключенный свет, и только цветомузыка ритмично выхватывает из темноты копошащиеся пары – уже никто не танцует, уже не до этого.

Воображение у меня достаточно развитое, чтобы домыслить все эти сцены до конца. Не надо и помощи Асмодея. Люди во славу удовольствия с легкостью приносят в жертву свою нравственность. «Как бы ни напоминали все эти писателишки в своих нравственно-воспитательных романах, что стыдно не только то, что видно, видно гораздо больше, чем кажется, и мне всегда найдется работа», – думал я.

Именно в этот момент, Господи, я был в таком заблуждении, что мне в голову пришла сумбурнейшая мысль, облекшая мое новое ремесло в стройную, как мне тогда показалось теорию. Решил, что я стал тем самым человеком, который способен изобличать людские пороки совершенно другим, действенным способом, чем до этого был у писателей. Да кто их сейчас и читает! Что толку молоть и перемалывать в общем и в целом. Надо действовать так же, как НАТО во время «Бури в пустыне»: меткими точечными ударами. Но и это не все. Работая в газете, я ведь тоже изобличал, и только теперь понял, что не было от этого толка. Фотографию печатали в газете на всеобщее обозрение, и человек, загнанный в угол глазом моего фотоаппарата, был обречен. Ему уже нечего было терять – на нем поставили клеймо негодяя. Психология тут проста: если тебя называли негодяем, значит, ты негодяй, но если тебе пока только намекнули, что ты «как негодяй», у тебя еще остается шанс на исправление. Никто ведь пока не знает о твоём пороке, кроме какого-то одного единственного фотографа, владеющего компроматом. Тем более расплачиваться надо не честью, не свободой, не здоровьем, не жизнью, чего у каждого имеется только в одном экземпляре, а тем, чего у человека всегда много – деньгами. Деньги – дело наживное.

Может быть, в этой моей теории полно банальностей, но тогда, пронесшись у меня в мозгу, как ураган, ломающий все этические преграды, она оставила после себя успокоительную обоснованность моих поступков. В конце концов, все идеологии основаны на банальностях.

Не знал я раньше на практике, что обычная идеология может прибавить энтузиазма. «Жить стало лучше, жить стало веселей». Я еще усердней заводил биноклем. И откуда только появилась у меня усидчивость? Право, не только наперсники Твои, Господи, исполнены терпения, но и у дьявола есть это грозное оружие.

Загорелся свет в одном окне, и это сразу привлекло мое внимание. «Хорошо, – подумал я

тогда, – начинаю реагировать на малейшие изменения – вырабатывается профессионализм». Окно было знакомое – вернулась домой та девушка, у которой ушли родители. Торопливо сняла куртку прямо в гостиной, бросила ее на кресло и исчезла в комнате, окна которой выходили на другую сторону дома. Ее поспешность показалась подозрительной. Если предположить, что она, например, повздорила со своим милым, то ей некуда было бы торопиться: не спеша, вошла бы в комнату, включила свет и села, может быть, прямо в куртке в кресло; устала бы в одну точку и думала, думала, думала о своей тяжелой девичьей судьбе. И потом, где я встречал такое выражение лица? Хаотично бегающий взгляд никак не вязался с безразличием опущенных уголков губ, бледная аристократичность впалых щек – с дрожащим подбородком и вялыми безвольными губами. Все это не укрылось от меня и сильно заинтриговало. К счастью, девушка снова появилась в гостиной, и все разъяснилось. В руках у нее был шприц. Она держала его высоко на отлете, как медсестра, которая уже готова ввести его в тело больного и ждет, когда тот расслабится. Я тут же вспомнил, где видел такие лица.

Это было, когда я делал для газеты фоторепортаж о наркоманах, специально ездил в клинику. О, их умоляющие лица! Они навсегда останутся в моей памяти: искусанные до крови губы, бесноватые, горящие глаза, жажда, неутолимая жажда в них – и у тех, что прибыли недавно, еще не осознав даже до конца, где они находятся, и еще более у тех, кто уже начал лечение.

Дальнейшее я наблюдал через видоискатель фотоаппарата. Девушка села в кресло, сбросив на пол куртку. Я заметил, что она пыталась расслабиться, но ничего у нее не получалось. Организм требовал вожделенную манну, организм чувствовал ее близость, организм торопил – судорога корчила тело. Наконец, девушке удалось закрутить карандашом резинку выше сгиба локтя, чтобы он не раскручивался. Она неумело прижала его подбородком и, застыв в таком неудобном положении, вонзила иглу...

Снимки получились хорошие, «Зенит», верный, молчаливый, не подвел – все было видно до мельчайших подробностей, вплоть до черной резинки и карандаша. На одной фотографии даже игла, нацелившаяся в ручейки разбегающихся вен, торжественно блеснула отраженным светом люстры. А вот другой снимок, который стоит оставить себе на память, как триумф творца, остановившего мгновение – «Портрет в кайфе»: раскрутившаяся резинка на безжизненной руке, гримаса блаженной улыбки, белки закатившихся глаз, расслабленные ноги, тонкие, девичьи, раскрывшиеся, как цветочный бутон.

Много денег я просить не собирался – не тот случай. Откуда у нее, девчонки, наркоманки, скрывающей свою тайну от родителей, могут быть деньги. Я просто хотел проверить свою новую теорию.

Утром, выяснив через справочную номер телефона, я зашел в подъезд того дома, с которого ночью вел наблюдение, поднялся на последний этаж и заглянул в окна напротив. В гостиной и на кухне, как и вчера, занавески не закрывали мне наблюдение. Было, как сейчас помню, воскресенье. Наверное, девушка еще спала, а родители так и не появились. Я опустил в почтовый ящик вычисленной квартиры конверт с самыми сочными фотографиями и направился к ближайшей телефонной будке. На мой звонок долго никто не отвечал, но я ждал – знал ведь, что она дома. Наконец, раздалось сонное детское «алё».

— Девушка, к сожалению, не знаю, как вас зовут, – не удержался я, чтобы не съехидничать, – но точно знаю, что в вашем почтовом ящике документы любопытные для вас. Поторопитесь их взять, пока этого не сделал кто-нибудь раньше. А я перезвоню через

десять минут.

Я перезвонил через полчаса. «Пусть она поволнуется», – думал я, хотя и сам сгрыз все ногти на пальцах. На этот раз бедная девочка взяла трубку после первого же гудка.

— Эта пленка стоит тысячу долларов, – сразу же объяснил я ей.

— Тысячу долларов?! У меня нет таких денег!

— Уж потрудитесь найти. Поверьте, это очень низкая цена за такие красивые фотографии. Я делаю лично вам огромную скидку исключительно из-за вашей привлекательной внешности. Любая газета отвалила бы гораздо больше, но что скажут ваши родители?

— Но где мне взять столько денег?! – жалобно воскликнула она. Право, наивность этого юного создания умиляла.

— «Где-где»... Где хотите! – ответил я холодно на ее дурацкий вопрос. – Я позвоню вам через два дня. Кстати, скажите все-таки ваше имя, вдруг мне придется позвать вас к телефону.

Без капли жалости я повесил трубку. Я не забывал, что искореняю порок. Я уже упоминал, кажется, что так никогда и не увидел этой тысячи. Вскоре у меня появились клиенты посерьезней, и такая незначительная сумма не играла для меня никакой роли. Но я все равно частенько напоминал о себе той девочке. Я производил точечное бомбометание. Я названивал примерно два раза в неделю, так что родители – кстати, довольно состоятельные – подумали, наверное, что у их дочери появился серьезный настойчивый поклонник, вежливо просивший позвать их Светочку к телефону. А она боялась разреветься от страха, разговаривая со мной на незначительные темы. Знали бы ее родители, что я сделал для их семьи, сами бы раскошелились от счастья. Убежден, эта девочка меня не обманывала: вскоре она излечилась от своего недуга, и тогда я перестал ее беспокоить. Только этого мне и надо было. Светочка, сама о том не догадываясь, доказала исключительную правильность моей теории. Я уверился, что способен излечивать человеческие пороки.

Надя проснулась от шума – опять у Паши что-то там не получается. Она слышала, как он раздирал свои листы на кухне и кричал: «Не то, не то!»

«Чтоб он их все порвал! И те, что в столе заодно, – подумала она с набухающим шаром раздражения в горле, готовым превратиться в крик. – Надо же – воскресенье, завтра на работу. Хоть один денечек выспаться, хоть раз пробудиться оттого, что выспалась».

Но тут же она окончательно проснулась, и эта тяжелая мысль провалилась в небытие, уступив место другой – легкой, радостной, завладевшей и головой, и душой, и даже телом – так сладко Надя потянулась. С удовольствием вспомнила о вчерашнем вечере. Теперь все у нее должно быть по-другому – прежняя жизнь была лишь прелюдией, тягостным ожиданием. Теперь она поняла: все эти радости детства, нелепые влюбленности, да даже и любовь к Павлу, свадьба – ничто по сравнению с охватившим ее счастьем. Не испортил настроение даже пытавшийся вчера поссориться муж. Экая беда! Ужин ему не приготовили! И даже не так – ведь полон холодильник! – просто не разогрели ему и на стол не подали. Какие мы бере! Пусть теперь помучается, поревнует. Смешно – сидит сейчас, рвет свою бумагу и ни о чем не догадывается. Конечно, ей не долго удастся скрывать свою тайну, она это знала. Слишком была счастлива, чтобы что-то скрывать.

Самое интересное, что это свое состояние счастья она давно уже знала, или скорее изучала по учебникам еще на студенческой скамье. Она психолог – пять лет института, четыре – за работой. Казалось, для нее уже не осталось тайн в человеческой душе, а вот, пожалуйста – стоит увлечься жизнью, как тут же забываются все эти ученые теории, и только потом вспоминаешь, что сделанного не воротишь.

Тайна.... Опять смешно! Больше всего ей сейчас хотелось смеяться. Не было бы никакой тайны, если бы он вчера так себя безобразно не вел. Понятно, устал на работе, пришел злой, голодный, но ведь можно хоть чуточку прислушаться к Надиному крику души. Все, что он уловил – это счастье, написанное на ее лице, и сразу сделал свои дурацкие выводы, приревновал.

Много ли у нее было тайн от мужа? Нет. Просто она иногда не все ему рассказывала, считая пустым и неинтересным. Разве можно это назвать тайной? Как-то еще тогда, когда они ходили в женихах-невестах, Павел поведал о своей юношеской любви, наивной, детской, но Наде почему-то было неприятно об этом слушать – ревность что ли. И тогда она вполне резонно решила, что раз ей неприятно, то и ему не к чему знать, а потому промолчала, отшутилась, когда Паша спросил о ее прежних любовных увлечениях. Разве это тайна?

«Пусть, пусть помучается, – думала Надя, – сам виноват». Только она вошла вчера, как он набросился: «Где была? Что делала?» – и ужасный вопрос недоверия: «С кем?» А у нее уже готова была сорваться с языка главная новость, но после таких вопросов Надя чуть ли не зубами схватила ее, радостную, правда, схватила – сжала зубы, промолчала и только потом, после долгой паузы процедила: «Гуляла». Не солгала ведь! И больше никаких объяснений. «Пусть я одна пока буду счастлива. Пусть он мучается».

Но надо было мириться. Все-таки и она чувствовала себя чуточку неуютно. Ведь скажи она все сразу, и не было бы никакой никчемной ссоры.

— Паша! – позвала она мужа.

Он тут же перестал рвать свою бумагу, притих.



«Не самое удачное время, он сейчас взбешен. Ну да ничего. Последнее слово будет за мной», – подумала Надя и крикнула еще раз: – Паша, иди сюда.

Заманихин откинул свои листки, с которыми застыл, когда Надя позвала его, и вошел к жене. В комнате еще удерживалась ночная тьма, прячась за плотными занавесками. Он с силой двумя резкими движениями раздвинул их. Свет бесшабашно ворвался в комнату, ударился в зеркала трельяжа и рассыпался, разукрасив цветом обои. Надя зажмурилась.

— С добрым утром, – сказал Павел, сел на край кровати и добавил, но как-то непривычно, сухо: – Мне надо кое-что тебе сказать...

— Мне тоже.

— Давай я скажу первый.

— Думаешь? Может, я?

И оба они тут же замолчали, потому что у обоих одновременно в голове пронеслись тревожные мысли:

«Я должен сказать первый. Зачем мне слушать о ее любовниках. И что еще она может сказать».

«Я должна сказать первая. Иначе разрыв. Он в ярости не сдержится, а я опять сожму зубы и промолчу».

Они разом, синхронно открыли рот, но заговорил один Заманихин, потому что успел резким неуловимым движением положить ладонь жене на губы.

— Я долго не мог вчера заснуть, – начал он издали, благо теперь его нельзя было перебить, – лежал, думал, и мне показалось, что я должен...

— Подожди! – вырвалась Надя, схватив его за руку своими маленькими ручками. – Все-таки я скажу первая! Потому что я должна была сказать это еще вчера, и... – борьба, – потому что это всего несколько слов...

— Я не собираюсь слушать о твоих...

И опять тяжелая мужская рука потянулась к ее рту. Надя зажмурилась и выпалила:

— У нас будет ребенок...

Немая сцена из «Ревизора», где Заманихин оказался и городничим, и почтмейстером, и Бобчинским с Добчинским в одном лице. Чего-чего, а этого он услышать не ожидал. Да, он хотел, ждал ребенка, но не знал, что это произойдет так, почти на грани разрыва.

Надя открыла глаза. Муж глупо улыбался.

— Что же ты раньше молчала?

— Когда «раньше»? Вчера только все точно подтвердилось.

— Вчера и надо было сказать...

— Я хотела...

— Хорошо хоть – хотела...

— Но у тебя было слишком плохое настроение. К тому же ты совсем перестал интересоваться «праздниками» жены. Я думала, опять задержка, пошла вчера к врачу, и все подтвердилось.

— Так ты вчера была у врача?! А сказала: «гуляла», – в словах Заманихина слышался упрек.

— Да, гуляла. Я вышла из консультации, еще было рано, и можно даже было успеть домой к твоему приходу, если на трамвае. Но, извини, в тот момент я совсем забыла о тебе. Я

была так счастлива, что пошла домой пешком. Знаешь, мне теперь надо больше гулять, дышать свежим воздухом. Я прошла через парк...

— И это мой ребенок! – Заманихин бросился головой на живот Нади, и то ли это было восклицание, то ли – вопрос, она не поняла, но исполнил он это довольно картинно, как в многочисленных фильмах, в которых ошарашенный муж узнает о беременности жены.

— Тише ты прыгай! Раздавишь, – выдавила от неожиданности Надя. Но когда муж поднял голову, лицо его действительно светилось от счастья. «Может, так и должно быть», – подумала она. А Заманихин тоже прислушивался к себе, вглядывался в себя как бы со стороны, и тоже чувствовал избыточность своих действий, но ничего поделать с собой не мог – он не притворялся, просто так получалось.

— А что хотел сказать ты? – спросила Надя.

Заманихин отвел глаза в сторону.

— Да так, ерунда, ничего особенного...

«Все понятно. Хорошо, что я успела сказать первой», – подумала Надя и промолчала, не стала настаивать на подробностях, за что Павел был ей очень благодарен. Теперь ради своей жены он был готов на любые подвиги, и она не преминула этим воспользоваться: для начала завтрак был подан в постель.

Она неторопливо ела бутерброд, то и дело отпивая кофе с молоком, и смотрела на мужа. Он сидел на краю кровати и тоже не спускал с жены свой радостный взгляд. Но только какое-то время. Потом глаза его опустились, и он уставился – пока все еще радостно – в одну точку: то ли на край подноса, то ли на один из бледных цветочков Надиной ночной рубашки. «Опять задумался», – мелькнуло у Нади, но она не стала мешать, как обычно это делала: надо было только пощелкать пальцами перед его носом. На этот раз ей стало интересно за ним понаблюдать. Вот с мысли о ребенке он переключился на что-то другое – сгорбился, нахмурился, радостный огонек исчез из его глаз. Казалось, он ушел внутрь себя, ищет там что-то впотьмах и не может найти. Ну и бесшабашность! Надя, например, могла теперь думать только о ребенке: мечтать, упиваться, наслаждаться – а он через каких-то пять минут уже переключился на что-то другое – значит, более важное для него. Ну вот, нашел, что искал! Глаза мужа опять просветлели, но уже не тем счастливым пустым огоньком, а по-другому, как будто отразилось в них золото – грязный, зеленый, требующий еще огромной работы золотой слиток, найденный старателем. «Сейчас сорвется», – успела подумать Надя, и точно: пробормотав невнятные извинения, он подскочил к письменному столу и вытащил свое сокровище – толстую от вложенных дополнительных листиков, испещренную чернилами и грифелями карандашей, с жирными следами пальцев, покоробившуюся в одном месте от пролитого кофе бесценную записную книжку.

«Писатель обязательно должен быть хорошим актером, ибо, не поставив себя на место персонажа и не разыграв до всех тонкостей всю его роль, нельзя проникнуть к нему в душу», – записал Заманихин.

Действительно, как Надя и думала, Павел смотрел на нее и радовался новости о ребенке, но затем он стал прислушиваться к ощущениям внутри себя, новым неведомым. Он вспомнил, как только что он смешно, но впрочем, искренне бросился Наде на живот, проанализировал эти эмоции, и тут уже было недалеко до сравнения с актерской игрой. Расскажи, Заманихин, жене! Она – психолог, она объяснит.

— Надя, я как будто играю какую-то пьесу. Я не могу отключить свой рассудок, он точно со стороны, как, знаешь, театральный критик в партере, наблюдает за моими чувствами. И

чувства мои всего лишь игра для него. Что со мной?

— Это не игра, – отвечает Надя, – просто так устроен твой ум. И не только у тебя, а у многих людей искусства, у тех же актеров, например. Разум у вас не перестает работать во время избытка чувств, как бывает у обычных людей. Разум пытается оставить все в памяти: вот так, мол, случается, когда человек узнает о рождении ребенка, а так – когда человек видит смерть. И всегда вы, писатели, и в радости, и в горе, в ситуациях экстремальных и самых бытовых продолжаете заниматься своей писательской работой – наблюдением.

Так могла бы ответить Надя, психолог по специальности, если бы Заманихин ее спросил. Но он не спрашивал, он вообще не разговаривал с ней о литературе, потому что чувствовал – ей это было не интересно. Вначале, бывало, пустится объяснять жене что-нибудь, а она быстро и тактично переведет разговор на другую тему. И тогда он привык домысливать эти разговоры о литературе сам. Думает, что бы могла ответить Надя и отвечает за нее.

Вот и сейчас ничего ей не сказал, а вроде как бы и поговорил с ней. И о путешествии, конечно, теперь ничего не скажет. Путешествовать и искать приключения он по-прежнему будет только в своем воображении. Так думал он, но я-то знаю, что совсем скоро он перестанет мечтать о приключениях и даже больше – возненавидит их.

Господи, неужели Ты не видишь, как они грешны? Зачем Ты, строгий и принципиальный, дал себе обет не устраивать больше потоп? Взгляни через мой бинокль, и Ты ужаснешься. Неужели Твои создания надоели Тебе, и Ты повернулся спиной к миру. Или Ты придумал для себя новую, более совершенную и послушную игрушку, о которой мы ничего не знаем?

Только посмотри: половина окон в любом доме наглухо закрыта шторами. Сколько же за ними нехристей, предусмотрительных и коварных. Мне же попадают лишь олухи царя небесного... Прости меня, Господи.

Из-за этих то самых олухов, ротозеев, ворон я и сам расслабился. Это свойственно дуракам – почувствовать себя умнее всех. Тогда и совершается глупость: забываешь завесить шторы, как мои клиенты, или забываешь о рамках вседозволенности, как я. Дуракам не свойственна осторожность.

Но все это будет потом. А пока я с легкостью и даже с любовью занимался своей новой работой. Выбор между журналистикой и новым делом был недолгим. Стоило оформить мою теорию, стоило возникнуть маломальскому конфликту в газете, и я стал свободным художником.

Главный редактор, этот мягкий хлеб в руках своих хозяев, опять зарезал несколько моих лучших снимков. Но я ждал этого, я знал, что так и будет, а потому был готов. И стоило мне только услышать от заведующего, что не включили в номер мой фоторепортаж о жизни ночного города – то, о чем я еще мог снимать – я вскипел. Масла в огонь подбавила новость, что вместо этого репортажа, оказывается, напечатали какие-то полу рекламные снимки с какой-то бомондной вечеринки какого-то нового выскочки-папараца.

Я ворвался в кабинет главного редактора, когда у него сидели два денежных мешка, судя по их виду и поведению. «Вот бы их поймать в мой видоискатель», – мелькнула у меня мысль. Я тряс номером газеты и кричал, но главный редактор, наверное, привык к таким эскападам. Он спокойно выслушал меня и так же спокойно указал на дверь. Ну что же, хлопнул я дверью, раз на нее указывают. А когда-то, помню, мы с этим человеком вместе боролись за свободу слова. Что теперь с ним стало? Где теперь хваленая свобода?

Потом, ближе к вечеру, меня поймал заведующий, порядочный вроде мужик, и раскатал с подачи главного редактора. В конце такой веселой беседы намекнул:

— Ты плохо выглядишь. Я бы на твоём месте завязал с этим делом.

Я удивился, о чем это он. Тому пришлось выразиться яснее:

— Бросай пить, иначе можно потерять работу.

Я рассмеялся ему в лицо. Господи, Ты свидетель, давно уже не было спиртного у меня во рту. Выглядел я, действительно, неважно. Все-таки не мальчик – полночи сидеть на крыше, а с утра бежать в редакцию. И я решил лучше бросить работу.

Наконец-то я ощутил какое-то подобие свободы – так, верно, чувствует себя разбойник в лесу. Ничто не связывало меня, ни от кого я не зависел и никому не был обязан. Требовались только собственная ловкость и хитрость. На вопросы о новой работе, я отвечал, что подрабатываю художественной фотографией, которой всегда мечтал заняться вплотную, и занялся-таки, потому что стало намного больше свободного времени и, кстати, нужных для этого денег. Вот таким стал я: днем – человек искусства, ночью – обличитель человечества.

Так и разбойник, благородный разбойник, ночью берет топор, которым днем рубил дрова.

Дело мое разрасталось. Моя увлеченность и обилие материала натолкнули меня на мысль о систематизации. Я завел картотеку. Пленки я продавал, но оставлял себе по экземпляру фотографий, сложенных аккуратно в конверты, с указанием на них адреса, телефона и других данных, которые удавалось узнать.

Может быть, это было нечестно по отношению к моим клиентам, но совесть не грызла меня. В конце концов, они все для меня были враги. И если я когда-нибудь попадусь, – думал я тогда, а у меня не было иллюзий на этот счет – это будет, – то пусть они все горят синим пламенем вместе со мной.

Я стал заядлым коллекционером. Накопительство – болезнь многих, и отныне я тоже коллекционировал два сорта вещей: валюту в банке и толстенькие конверты с фотографиями. Но если первое собирал не я один, то второго такого ни у кого не было. В своей мании я дошел даже до того, что расположил конверты в длинном ящичке в алфавитном порядке, перемежая их картонками с нарисованными жирными красными буквами – прямо, как в какой-нибудь картотеке. Здесь у меня были неверные жены и мужья, проститутки и их сутенеры, гомосексуалисты; был один совратитель малолетних, без страха заманивавший к себе домой беспризорных детей; был один продавец наркотиков, на которого меня навела, о том не догадываясь, та девчонка-наркоманка, Светочка. Была даже одна группа самогонщиков-профессионалов – моя гордость, которых я подловил на зацепившейся за что-то шторе. Большинство из них нехотя, но раскошенилось, другие дозревали. Картотека моя росла, собирая все новые и новые лица, самодовольные, порой улыбающиеся, еще не ведающие обо мне – об опасности. Да я был их опасностью, их забытой совестью, их судьбой.

Улов был огромен. Но в своем азарте я теперь жаждал не количества, а качества. Каждый настоящий рыбак предпочтет десяти худым плотвичкам одного жирного леща. Так и я мечтал о настоящих воротилах. Нет, об акулах бизнеса я не говорю, но сколько подлецов рангом ниже можно вывести на чистую воду. Страна на распутье, страна обрастает новым классом – буржуазией – одно это слово отдает нечистым душком. И дураку понятно, что честно нажить деньги можно только на холодильник, или на сарай за сто один километр от города, или на старенький дребезжащий «Москвич». Но люди катаются на «Мерседесах», строят трехэтажные особняки за городом, и все это выглядит нормальным, естественным, не вызывая даже и тени сомнения у налоговой инспекции. Сколько получает депутат, если он через три месяца после избрания оставляет на домработницу свою немаленькую государственную квартиру и перебирается в новую дачу-крепость о трех этажах, если не считать еще башенок сверху? Какова зарплата начальника районной налоговой инспекции, бюджетника, который, гнушаясь государственной «Волги», разъезжает на новенькой иномарке? Поддержать бы их за жабры, чтобы вместо самоуверенной наглости, вместо административного восторга появились страх и мольба в их бесстыжих глазах. Знал ведь я что можно трясти их мощну, но не знал – как.

Меж тем в городе заговорили о хитром и умелом шантажисте. Поговаривали, что от фотоаппарата этого шантажиста не может укрыться ни один пройдоха, поговаривали, что он не знает пощады, поговаривали даже, что он заставляет своих жертв переводить деньги на счета детских домов. Ну, это уж брехня! Впрочем, народ понять можно, народ всегда придумает себе очередного Робин Гуда. Об этом рассказал мне бывший товарищ, один журналистишка из моей газеты.

— Вот бы повстречаться с ним! – добавил он.

— Зачем? – встрепнулся я, про себя подумав, что и тебя, журналистишку, можно смело зацепить на крючок, да толку маловато – грязных дел-то за тобой накопать можно много, а денег у тебя почему-то не прибавляется.

— Как «зачем»? – воскликнул журналист. – Интервью бы взять. Вот сенсация – сразу в ближайший номер попадет.

— Так зачем тебе с ним лично встречаться?

Журналистишка сразу меня понял. Мало что ли у него было сфабрикованных интервью, которые он написал, не поднимая зада с редакционного стула.

— Воображение что-то подводить стало, – ответил он, – материала-то маловато.

— Ерунда! Давай вместе. Я напишу, добавлю интересные фотографии, якобы им снятые, а ты отредактируешь по своему усмотрению. Развернем на всю полосу. Гонорар пополам.

Честно говоря, Господи, меня тогда так и подмывало изложить людям свою теорию. Чего уж проще – через газету. Но этот негодяй отказался. Жалко, наверное, стало половины гонорара. Да не мог я половины не попросить – подозрительно. Побегал он, мелко переступая своими короткими ножками, в редакцию воплощать мою идею без моей теории. Что он знал! Ну да ладно, у меня тогда и без того дел хватало.

Развернувшееся дело требовало и вложений. Купил себе машину, неприметную среди навороченных иномарок «шестерку». Меньше всего мне хотелось погореть из-за того, что кто-нибудь обратил бы внимание на красивую тачку и запомнил ее. А машина была мне нужна как воздух, и выходило дешевле, чем тратиться на дорогостоящие ночные такси. «Шестерка» попалась хорошая: не новая, но проверенная, находившаяся, должно быть, в хороших руках. Единственное, что я сделал – это затонировал все стекла, чтобы можно было незаметно фотографировать прямо из машины.

Мысли о покупке нового фотоаппарата даже не возникло. Хороши, конечно, «Никон» или «Кодак», но верный «Зенит» был, на мой взгляд, надежнее. Все гениальное просто – это о нем. Знал я там каждый винтик, не раз разбирал и ремонтировал, так зачем же мне что-то другое. Слишком патриотично? Ну и что.

Квартира новая, шикарная мне тоже была ни к чему. Это уже опасно. Хватит того, что я уволился с работы и, тем не менее, купил машину. Зарываться не надо. Да мне и своей однокомнатной было достаточно. Тем более, с этим местом у меня было связано слишком уж много светлых воспоминаний, о которых я еще расскажу.

Единственное, что мне теперь не хватало – это хорошего верного помощника со связями. Мне нужен был человек, который смог бы ввести меня в другой мир, помог бы закинуть мой крючок на большую глубину, чтобы затрепыхалась у меня в руках рыба покрупнее. Да и просто я не справлялся, не смотря на то, что уволился с работы. Не хватало времени. Не помешала бы обычная секретарша, но в том то и дело, что она должна была быть не совсем обычной – довериться можно только человеку, которого хорошо знаешь. Такое приобретение ни за какие деньги не купишь. Я рыскал в уголках своей памяти, перебирая всех своих знакомых и отбрасывая одну кандидатуру за другой, и понял одну страшную вещь. Господи, Ты давно уже лишил меня друзей! Не осталось ни одного человека, на которого можно было бы положиться. А когда это произошло, я и не заметил.

Как-то одним меланхоличным вечером, в который я устроил себе выходной (и теперь клянусь себя за это, ибо последствия были чудовищны), среди забытых бумаг, фотографий и ненужных документов мне попалась старая записная книжка. А я-то думал, что выбросил ее,

невольную свидетельницу моей несуразной молодости. Листая ее пожелтевшие страницы, я с трудом вспоминал имена и фамилии, и из преисподней памяти выныривали незначительные эпизоды только для того, чтобы снова опуститься в эту загадочную пучину. Но иногда случалось и так, что на какое-нибудь имя, написанное резким, молодым, почти не моим почерком память вообще не реагировала, и тогда я с досадой переворачивал не ожившую страницу.

Что-то всколыхнулось в моей душе, когда я открыл записи на букву «Т». Вот она, ничем не выделяющаяся от остальных тань, тамар, толиков, толбухиных, труневых – моя Таня, моя Танюша. Когда-то, в первый день нашей встречи, я записал ее телефон, а потом и не заглядывал туда – запомнил сразу номер, потому что звонил ей по несколько раз на дню.

Тогда я поймал себя на мысли, что до сих пор помню ее трудно усваиваемый, нелогичный, как она сама, без единой повторяющейся цифры номер телефона: 253-49-71. Какой-то обуявший меня трепет не давал мне перевернуть страницу. Цифры гипнотизировали меня. Время ухмылялось отрезком прожитых лет. Все плохое забылось – я решил – я решил позвонить ей прямо сейчас. Клянусь, Господи, я забыл о своем страшном деле, о теории, обо всех клиентах, поверь мне – это важно. Я хотел ей только сказать: «Сколько лет, сколько зим».

— Алё, – ответил чей-то старческий голос.

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Таню.

— А кто ее спрашивает?

Впервые в жизни я обрадовался этому неприятнейшему из вопросов – значит, она по-прежнему живет там же, и, более того, она дома.

— Очень старый друг...

— Все вы – старые друзья, – услышал я ворчание, но трубку положили рядом с телефоном.

Трепет перерос в неумную дрожь.

— Да, – услышал я и потерял дар речи. – Слушаю!

— Таня!

— С кем я разговариваю? – надменно и холодно.

Я назвал свое имя, и, уверен, оно вызвало улыбку у нее на губах. Голос ее потеплел.

— Здравствуй, зайчик мой!

О, как все знакомо! Раньше она тоже меня так звала. И не только меня – всех своих кавалеров – специально, чтобы не перепутать и не окрестить кого-нибудь из нас чужим именем.

— Звоню тебе сказать: сколько лет, сколько зим?

— Много, много. Не считай.

— Ну, как у тебя дела?

— Пока не родила, – отшутилась она. Глупый вопрос – глупый ответ, но о чем еще спрашивать, если столько лет прошло, и голос дрожит, и ладони потеют. – Дела у меня – ничего. А у тебя?

— Тоже нормально. Ты не замужем?

— Нет, в разводе.

— Да? – удача! – В каком: третьем или четвертом?

— Ты все такой же нахал, зайчик. Во втором только...

Долго мы разговаривали, и никто из нас не решался первым предложить встретиться.

Разве стоило лишать себя тех светлых идеалов молодости, до сих пор тешащих душу, стоило рушить с таким трудом возведенную стену искусственного отчуждения, стоило возвращаться в прошлое? Но это уже было неизбежно. Смог бы я тогда удержаться и не позвонить? Не знаю, что ответить даже сейчас, после всех трагических событий.



Жажда приключений мучила Заманихина с детства. Он мечтал стать и моряком, и скалолазом, и летчиком, и, конечно, космонавтом. Ни разу не возникло у него такой распространенной у детей мечты: хочу, мол, продавать мороженое, чтобы можно было обедаться им каждый день, – такого не было. Его тянуло вдаль, в высь и еще неизвестно куда. Да и могло ли быть в детстве иначе... Но чем больше он вырос, тем чаще стали перед ним захлопываться двери то в одну мечту, то в другую. Он вскоре осознал это и встревожился, но легче не стало. Успокаиваться он не хотел, и потому все уходило на второй план – в воображение. Он по-прежнему в мечтах лазал по горам, когда в клубе альпинистов его вежливо отшили: «Мальчик, у нас таких, как ты – перебор». Он летал на самолете в мечтах, когда не прошел медкомиссию в летное училище. И надо же, в том же выпускном году успел отдать документы в морское училище и там даже умудрился медкомиссию пройти. Но тем сильнее было разочарование, потому что таких, как он, романтиков оказалось до того много, что Заманихин не смог пробиться через огромный конкурс, хоть и сдал экзамены на «пять» с одной лишь «четверкой».

Было еще немало профессий, о которых он мечтал – стоит ли их и перечислять? – но время было упущено, и, чтобы не терять целый год, родители уговорили поступить его в любой институт, где не было конкурса. Туда, с его единственной четверкой, Заманихина взяли с распростертыми объятиями. Так большинство романтиков становятся строителями, технологами и специалистами по станкам ЧПУ.

Он поступил на вечернее отделение в Технологический институт по странной непонятной специальности «стекло и силикаты». Пошел на завод слесарем, чтобы не сидеть у родителей на шее, и меньше чем через полгода, в осенний призыв его забрали в армию. Романтик Заманихин пошел туда с радостью.

Пожалуй, единственной воплотившейся мечтой для него стал мотоцикл. С восьмого класса начал копить на него – во время летних каникул вкалывал в совхозах сельхозрабочим, деньги эти трудовые не тратил, да и родители помогли – сняли свои накопления со сберкнижки. И вовремя, кстати, сняли, а то все бы пропало в вихре инфляции.

Так Заманихин на своем новеньком «Чезете» влился в огромную армию рокеров и будил вместе с ними город по ночам. Странно для него выглядела мечта, на которую можно накопить денег. Трудно было поверить, что мечту именно так и воплощают в жизнь. И совсем уже невероятным казалось для него во время поступления в морское училище взять и продать мотоцикл, а денежки отдать одному ушлему члену приемной комиссии, как тот и намекал непонятливому абитуриенту. Так бы мог Заманихин воплотить свою мечту о море, и бороздил бы сейчас его просторы, и не случилось бы с ним того, что с ним произошло – тогда бы приключилось что-нибудь другое. Но воспитан был Павел не на тех книжках, и родители не могли ему такого подсказать, потому что тоже воспитывались по-другому. Они лишь пеняли сыну, что с этим мотоциклом он забросил учебу в десятом классе, и были, впрочем, правы – получил же он эту злополучную четверку на экзамене.

К слову сказать, на мотоцикле он больше и не гонял, сразу после возвращения из армии его пришлось продать.

Пока он служил, случились два страшных события. Один за другим, с разницей в два месяца умерли его престарелые родители: сначала мать – от рака, затем отец – наверное, не

мог без нее жить. Три раза Павел ездил в отпуск – сначала в связи с болезнью матери, потом два раза на похороны. Сослуживцы завидовали, наблюдая, как он в парадной форме выходит за ворота части, а, узнав причину, умолкали. Вернулся, наконец, домой с семьюдесятью рублями в кармане, оглядел пустую квартиру – хорошо хоть она сохранилась, благодаря тому, что в ней была еще прописана Пашкина тетка – оглядел квартиру, увидел на лоджии запыленный мотоцикл, и вскоре тот, красивый, ярко-оранжевый, с вздернутыми глушаками и задним крылом, с блестящими стальными дугами превратился в два недорогих невзрачных памятника на могиле у родителей.

Он был у них единственный и очень поздний ребенок. Такой поздний, что прямо как в сказке появился неожиданным счастьем у стариков. И, естественно, они лелеяли сына, как могли, как позволяли им, учителям, средства и собственное интеллигентское воспитание. Как еще в армию отпустили? Но это все отец со своими принципами: «Иди, Пашка, – сказал он, обнимая сына, – служи честно и поскорее возвращайся». А Пашка и рад был убежать из-под родительской опеки, не мог он еще понять такой сильной привязанности. И только потом, когда история стала повторяться, когда заявила о себе его наследственность, он начал понимать силу родительских чувств. Но тогда, вернувшись из армии, Заманихин в отчаянии даже обвинил родителей: берегли неизвестно для чего и бросили. Что он умел в жизни: перебросить ногу через седло мотоцикла, которого уже не было, отпустить сцепление, поддать резко газу – и на дыбы. Все! Вкус, совесть, независимость, гордость – вот что привили ему родители, вот что передали по наследству, вот чем гордились – все это теперь гроша ломанного не стоит! – думал Заманихин.

Пошел на тот же завод, там ему обещали двести рублей подъемных. Из технологического института документы забрал – не понравились ему стекло и силикаты. И теперь мечты должны были остаться только мечтами, но воображение работало, как в детстве, и, забирая документы, Заманихин уже думал о чем-то другом.

Любовь к литературе проснулась в нем, как спящая красавица. Пойти по стопам родителей пришло на ум как-то само собой – они оба в свое время закончили филфак в университете – там, кстати, когда-то давно и познакомились. С ужасом Заманихин вспомнил, что за два армейских года он не прочитал ни одной книги, а до вступительных экзаменов оставалось пять месяцев. Но самоуверенности было достаточно, и он бросился вспоминать школьную программу.

Срезался на втором экзамене – английском языке, но и первый-то, сочинение, одолел с трудом: умудрился наделать детских орфографических ошибок и получил тройку. Если бы не позор на английском, то все равно не прошел бы по конкурсу: проходной балл в университете высок, и куда Заманихину после двух лет армии было тягаться с отличниками. Со свинным рылом, да в калашный ряд! Самообразование тоже неплохая штука, особенно когда ты зол и требователен к себе, решил Заманихин. Еще на подготовительных курсах он познакомился с одним юным пентюхом, ловившим каждое заманихинское слово – еще бы, человек из армии пришел! Пентюх поступил-таки на заочное, и Заманихин решил с ним не порывать. Они созванивались два раза в год, и Павел получал копии методичек, а затем перечитывал всю ту литературу, что рекомендовали в университете. В конце концов, я учусь не для того, чтобы корочки получить и стать рядовым учителем литературы, как родители – я учусь для себя, – справедливо думал Заманихин. Спроси его кто-нибудь, зачем ему это, зачем изнурять себя Бодуэном де Куртене, Тахо-Годи, Гюисмансом или Шопенгауэром, он бы слукавил или промолчал. Но себя и, тем более, меня он обмануть не мог. Старался пока не думать об этом,

но как же – мечты-паразиты не скроешь! Его богатое воображение помогало с легкостью представить себя знаменитым писателем. От методички к методичке, от семестра к семестру, от года к году начало у Заманихина кое-что получаться. Самоотверженности хватало. Самоуверенности не занимать. Опыт заменяло воображение, быстро разраставшееся от одной фразы или жизненной ситуации. Герои, им придуманные герои, вооруженные его мыслями, сомнениями, переживаниями, порой довольно вялые, порой штампованные, клонированные из произведений великих, а порой и достаточно самобытные, интересные – все до одного герои из головы транзитом через бумагу уходили в ящик стола. Сам Заманихин чувствовал, что это еще не то, что еще рано показывать свои произведения кому-нибудь, но постепенно и у него начали появляться читатели.

Первым был его школьный друг Саша Рыжов, с которым они вместе когда-то заразились романтикой ночных рокерских гонок. Тот так и остался при мотоцикле. Рыжий тоже был в армии в одно время с Заманихиным. Вернулся на месяц раньше, и сразу, конечно, на мотоцикл. Да в тот первый раз недалеко уехал. Как он рассказывал потом, вечером шел дождь, и к ночи слегка подморозило – осень. Сел, дал газу, обрадовался, прибавил еще, и вдруг из-за поворота выскочил какой-то бешеный велосипедист. Рыжий только и успел руль повернуть. Заднее колесо занесло, тачка легла на дугу, Рыжего вынесло из седла – это его и спасло: сломал лишь левую руку, ободрал ногу до мяса, да жалко еще было новые кожаные штаны. Мотоцикл же, скинув седока, взъярился, как взбесившийся конь: пролетел на дуге метров десять, споткнулся о поребрик, сделал пяток кульбитов и врезался в столб. Рыжий с яростью рассказывал, как вскочил, бегом догнал велосипедиста и накостилял ему сломанной рукой: за тачку, за то, что та превратилась в груды металлолома. Может, и руку-то об велосипедиста сломал.

[Купить полную версию книги](#)